

Ф.М. Достоевский

Неточка Незванова

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Д70

Д70 **Достоевский Ф.М.**
Неточка Незванова / Ф.М. Достоевский – М.: Книга по Требованию, 2024. –
112 с.

ISBN 978-5-4241-1340-6

Ф. М. Достоевский принадлежит к числу самых знаменитых писателей XIX века. И в наши дни его произведения читаются с тем же неослабевающим интересом, что и при его жизни. Романы "Преступление и наказание", "Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы" знают во всех странах мира.

ISBN 978-5-4241-1340-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024
© Ф.М. Достоевский, 2024

Федор Михайлович
Достоевский
Неточка Незванова

I

Отца моего я не помню. Он умер, когда мне было два года. Мать моя вышла замуж в другой раз. Это второе замужество принесло ей много горя, хотя и было сделано по любви. Мой отчим был музыкант. Судьба его очень замечательна: это был самый странный, самый чудесный человек из всех, которых я знала. Он слишком сильно отразился в первых впечатлениях моего детства, так сильно, что эти впечатления имели влияние на всю мою жизнь. Прежде всего, чтоб был понятен рассказ мой, я приведу здесь его биографию. Все, что я теперь буду рассказывать, узнала я потом от знаменитого скрипача Б., который был товарищем и коротким приятелем моего отчима в своей молодости.

Фамилия моего отчима была Ефимов. Он родился в селе очень богатого помещика, от одного бедного музыканта, который, после долгих странствований, поселился в имении этого помещика и нанялся в его оркестр. Помещик жил очень пышно и более всего, до страсти, любил музыку. Рассказывали про него, что он, никогда не выезжавший из своей деревни даже в Москву, однажды вдруг решился поехать за границу на какие-то воды, и поехал не более как на несколько недель, единственно для того, чтоб услышать какого-то знаменитого скрипача, который, как уведомляли газеты, собирался дать на водах три концерта. У него был порядочный оркестр музыкантов, на который он тратил почти весь доход свой. В этот оркестр мой отчим поступил кларнетистом. Ему было двадцать два года, когда он познакомился с одним странным человеком. В этом же уезде жил богатый граф, который разорился на содержание домашнего театра. Этот граф отказал от должности капельмейстеру своего оркестра, родом итальянцу, за дурное поведение. Капельмейстер был действительно дурной человек. Когда его выгнали, он совершенно унизился, стал ходить по деревенским трактирам, напивался, иногда просил милостыню, и уже никто в целой губернии не хотел дать ему места. С этим-то человеком подружился мой отчим. Связь эта была необъяснимая и странная, потому что никто не замечал, чтоб он хоть сколько-нибудь изменился в своем поведении из подражания товарищу, и даже сам помещик, который сначала запрещал ему водиться с итальянцем, смотрел потом сквозь пальцы на их дружбу. Наконец, капельмейстер умер скоропостижно. Его нашли поутру крестьяне во рву, у плотины. Нарядили следствие, и вышло, что он умер от апоплексического удара. Имущество его сохранялось у отчима, который тотчас же и представил доказательства, что имел полное право наследовать этим имуществом: покойник оставил собственноручную записку, в которой делал Ефимова своим наследником в случае своей смерти. Наследство состояло из черного фрака, тщательно сберегавшегося покойником, который все еще надеялся достать себе место, и скрипки, довольно обыкновенной с виду. Никто не оспаривал этого наследства. Но только спустя несколько времени к помещику явился первый скрипач графского оркестра с письмом от графа. В этом письме граф просил, уговаривал Ефимова продать скрипку, оставшуюся после итальянца и которую граф очень желал приобрести для своего оркестра. Он предлагал три тысячи рублей и прибавлял, что уже несколько раз посылал за Егором Ефимовым, чтоб покончить торг лично, но что тот упорно отказывался. Граф заключал тем, что цена скрипки настоящая, что он не сбавляет ничего и в упорстве Ефимова видит

для себя обидное подозрение воспользоваться при торге его простотою и незнанием, а потому и просил вразумить его.

Помещик немедленно послал за отчимом.

– Для чего ж ты не хочешь отдать скрипку? – спросил он его, – она тебе нужна. Тебе дают три тысячи рублей, это цена настоящая, и ты делаешь неразумно, если думаешь, что тебе дадут больше. Граф тебя не станет обманывать.

Ефимов отвечал, что к графу он сам не пойдет, но если его пошлют, то на это будет воля господская; графу он скрипку не продаст, А если у него захотят взять ее насильно, то на это опять будет воля господская.

Ясное дело, что таким ответом он коснулся самой чувствительной струны в характере помещика. Дело в том, что тот всегда с гордостью говорил, что знает, как обращаться со своими музыкантами, потому что все они до одного истинные артисты и что, благодаря им, его оркестр не только лучше графского, но и не хуже столичного.

– Хорошо! – отвечал помещик. – Я уведомя графа, что ты не хочешь продать скрипку, потому что ты не хочешь, потому что ты в полном праве продать или не продать, понимаешь? Но я сам тебя спрашиваю: зачем тебе скрипка? Твой инструмент кларнет, хоть ты и плохой кларнетист. Уступи ее мне. Я дам три тысячи. (Кто знал, что это такой инструмент!)

Ефимов усмехнулся.

– Нет, сударь, я вам ее не продам, – отвечал он, – конечно, ваша воля...

– Да разве я тебя притесняю, разве я тебя принуждаю! – закричал помещик, выведенный из себя, тем более что дело происходило при графском музыканте, который мог заключить по этой сцене очень невыгодно об участии всех музыкантов помещичьего оркестра. – Ступай же вон, неблагодарный! Чтоб я тебя не видал с этих пор! Куда бы ты делся без меня с твоим кларнетом, на котором ты и играть не умеешь? У меня же ты сыт, одет, получаешь жалованье; ты живешь на благородной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь понимать и не чувствуешь. Ступай же вон и не раздражай меня своим присутствием!

Помещик гнал от себя всех, на кого сердился, потому что боялся за себя и за свою горячность. А ни за что бы он не захотел поступить слишком строго с «артистом», как он называл своих музыкантов.

Торг не состоялся, и, казалось, тем дело и кончилось, как вдруг, через месяц, графский скрипач затеял ужасное дело: под своею ответственностью он подал на моего отчима донос, в котором доказывал, что отчим виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстной целью: овладеть богатым наследством. Он доказывал, что завещание было выманено насильно, и обещался представить свидетелей своему обвинению. Ни просьбы, ни увещания графа и помещика, вступившегося за моего отчима, – ничто не могло поколебать доносчика в его намерении. Ему представляли, что медицинское следствие над телом покойного капельмейстера было сделано правильно, что доносчик идет против очевидности, может быть, по личной злобе и по досаде, не успев овладеть драгоценным инструментом, который для него покупали. Музыкант стоял на своем, божился, что он прав, доказывал, что апоплексический удар произошел не от пьянства, а от отравы, и требовал следствия в другой раз. С первого взгляда доказательства его показались серьезными. Разумеется, делу дали ход. Ефимова взяли, отослали в городскую тюрьму. Началось дело, которое заинтересовало всю губернию. Оно

пошло очень быстро и кончилось тем, что музыкант был уличен в ложном доносе. Его приговорили к справедливому наказанию, но он до конца стоял на своем и уверял, что он прав. Наконец он сознался, что не имеет никаких доказательств, что доказательства, им представленные, выдуманы им самим, но что, выдумывая все это, он действовал по предположению, по догадке, потому что до сей поры, когда уже было произведено другое следствие, когда уже формально была доказана невинность Ефимова, он все еще остается в полном убеждении, что причиною смерти несчастного капельмейстера был Ефимов, хотя, может быть, он уморил его не отравой, а другим каким-нибудь образом. Но над ним не успели исполнить приговора: он внезапно заболел воспалением в мозгу, сошел с ума и умер в тюремном лазарете.

В продолжение всего этого дела помещик вел себя самым благородным образом. Он старался о моем отчине так, как будто тот был его родной сын. Несколько раз он приезжал к нему в тюрьму утешать его, дарил ему денег, привозил к нему лучших сигар, узнав, что Ефимов любил курить, и, когда отчим оправдался, задал праздник всему оркестру. Помещик смотрел на дело Ефимова как на дело, касающееся всего оркестра, потому что хорошим поведением своих музыкантов он дорожил если не более, то по крайней мере наравне с их дарованиями. Прошел целый год, как вдруг по губернии разнесся слух, что в губернский город приехал какой-то известный скрипач, француз, и намерен дать мимоездом несколько концертов. Помещик тотчас же начал стараться каким-нибудь образом залучить его к себе в гости. Дело шло на лад; француз обещался приехать. Уже все было готово к его приезду, позван был почти целый уезд, но вдруг все приняло другой оборот.

В одно утро докладывают, что Ефимов исчез неизвестно куда. Начались поиски, но и след простыл. Оркестр был в чрезвычайном положении: недоставало кларнета, как вдруг, три дня спустя после исчезновения Ефимова, помещик получает от француза письмо, в котором тот надменно отказывался от приглашения, прибавляя, конечно обиняками, что впредь будет чрезвычайно осторожен в сношениях с теми господами, которые держат собственный оркестр музыкантов, что неэстетично видеть истинный талант под управлением человека, который не знает ему цены, и что, наконец, пример Ефимова, истинного артиста и лучшего скрипача, которого он только встречал в России, служит достаточным доказательством справедливости слов его.

Прочтя это письмо, помещик был в глубоком изумлении. Он был огорчен до глубины души. Как? Ефимов, тот самый Ефимов, о котором он так заботился, которому он так благодетельствовал, этот Ефимов так беспощадно, бессовестно оклеветал его в глазах европейского артиста, такого человека, мнением которого он высоко дорожил! И наконец, письмо было необъяснимо в другом отношении: уведомили, что Ефимов артист с истинным талантом, что он скрипач, но что не умели угадать его таланта и принуждали его заниматься другим инструментом. Все это так поразило помещика, что он немедленно собрался ехать в город для свидания с французом, как вдруг получил записку от графа, в которой тот приглашал его немедленно к себе и уведомлял, что ему известно все дело, что заезжий виртуоз теперь у него, вместе с Ефимовым, что он, будучи изумлен дерзостью и клеветой последнего, приказал задержать его и что, наконец, присутствие помещика необходимо и потому еще, что обвинение Ефимова касается даже само-

го графа; дело это очень важно, и нужно его разъяснить как можно скорее.

Помещик, немедленно отправившись к графу, тотчас же познакомился с французом и объяснил всю историю моего отчима, прибавив, что он не подозревал в Ефимове такого огромного таланта, что Ефимов был у него, напротив, очень плохим кларнетистом и что он только в первый раз слышит, будто оставивший его музыкант – скрипач. Он прибавил еще, что Ефимов человек вольный, пользовался полною свободою и всегда, во всякое время, мог бы оставить его, если бы действительно был притеснен. Француз был в удивлении. Позвали Ефимова, и его едва можно было узнать: он вел себя заносчиво, отвечал с насмешкою и настаивал в справедливости того, что успел наговорить французю. Все это до крайности раздражило графа, который прямо сказал моему отчиму, что он негодяй, клеветник и достоин самого постыдного наказания.

– Не беспокойтесь, ваше сиятельство, я уже довольно с вами знаком и знаю вас хорошо, – отвечал мой отчим, – по вашей милости, я едва ушел от уголовного наказания. Знаю, по чьему наущенью Алексей Никифорыч, ваш бывший музыкант, донес на меня.

Граф был вне себя от гнева, услышав такое ужасное обвинение. Он едва мог совладеть с собою; но случившийся в зале чиновник, который заехал к графу по делу, объявил, что он не может оставить всего этого без последствий, что обидная грубость Ефимова заключает в себе злое, несправедливое обвинение, клевету и он покорнейше просит позволить арестовать его сейчас же, в графском доме. Француз изъявил полное негодование и сказал, что не понимает такой черной неблагодарности. Тогда мой отчим ответил с запальчивостью, что лучше наказание, суд и хоть опять уголовное следствие, чем то житье, которое он испытал до сих пор, состоя в помещичьем оркестре и не имея средств оставить его раньше, за свою крайнюю бедностью, и с этими словами вышел из залы вместе с арестовавшими его. Его заперли в отдаленную комнату дома и пригрозили, что завтра же отправят его в город.

Около полуночи отворилась дверь в комнату арестанта. Вошел помещик. Он был в халате, в туфлях и держал в руках зажженный фонарь. Казалось, он не мог заснуть, и мучительная забота заставила его в такой час оставить постель. Ефимов не спал и с изумлением взглянул на вошедшего. Тот поставил фонарь и в глубоком волнении сел против него на стул.

– Егор, – сказал он ему, – за что ты так обидел меня?

Ефимов не отвечал. Помещик повторил свой вопрос, и какое-то глубокое чувство, какая-то странная тоска звучала в словах его.

– А бог знает, за что я так обидел вас, сударь! – отвечал наконец мой отчим, махнув рукою, – знать, бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на все это наталкивает! Ну, не житье мне у вас, не житье... Сам дьявол привязался ко мне!

– Егор! – начал снова помещик, – воротись ко мне; я все позабуду, все тебе прощу. Слушай: ты будешь первым из моих музыкантов; я положу тебе не в пример другим жалованье...

– Нет, сударь, нет, и не говорите: не жилец я у вас! Я вам говорю, что дьявол ко мне навязался. Я у вас дом зажгу, коли останусь; на меня находит, и такая тоска подчас, что лучше бы мне на свет не родиться! Теперь я и за себя отвечать не могу: уж вы лучше, сударь, оставьте меня. Это все с тех пор, как тот дьявол побратался со мною...

– Кто? – спросил помещик.
– А вот, что издох как собака, от которой свет отступился, итальянец.
– Это он тебя, Егорушка, играть выучил?
– Да! Многому он меня научил на мою погибель. Лучше б мне никогда его не видать.

– Разве и он был мастер на скрипке, Егорушка?
– Нет, он сам мало знал, а учил хорошо. Я сам выучился; он только показывал, – и легче, чтоб у меня рука отсохла, чем эта наука. Я теперь сам не знаю, чего хочу. Вот спросите, сударь: «Егорка! чего ты хочешь? все могу тебе дать», – а я, сударь, ведь ни слова вам в ответ не скажу, затем что сам не знаю, чего хочу. Нет, уж вы лучше, сударь, оставьте меня, в другой раз говорю. Уж я что-нибудь такое над собой сделаю, чтоб меня куда-нибудь подальше спровадили, да и дело с концом!

– Егор! – сказал помещик после минутного молчания, – я тебя так не оставлю. Коли не хочешь служить у меня, ступай; ты же человек вольный, держать тебя я не могу; но я теперь так не уйду от тебя. Сыграй мне что-нибудь, Егор, на твоей скрипке, сыграй! ради бога, сыграй! Я тебе не приказываю, пойми ты меня, я тебя не принуждаю; я тебя прошу слезно: сыграй мне, Егорушка, ради бога, то, что ты французу играл! Отведи душу! Ты упрям, и я упрям; знать, у меня тоже свой нор, Егорушка! Я тебя чувствую, почувствуй и ты, как я. Жив не могу быть, покамест ты мне не сыграешь того, по своей доброй воле и охоте, что французу играл.

– Ну, быть так! – сказал Ефимов. – Дал я, сударь, зарок никогда перед вами не играть, именно перед вами, а теперь сердце мое разрешилось. Сыграю я вам, но только в первый и последний раз, и больше, сударь, вам никогда и нигде меня не услышать, хоть бы тысячу рублей мне посулили.

Тут он взял скрипку и начал играть свои вариации на русские песни. Б. говорил, что эти вариации – его первая и лучшая пьеса на скрипке и что больше он никогда ничего не играл так хорошо и с таким вдохновением. Помещик, который и без того не мог равнодушно слышать музыку, плакал навзрыд. Когда игра кончилась, он встал со стула, вынул триста рублей, подал их моему отчиму и сказал:

– Теперь ступай, Егор. Я тебя выпущу отсюда и сам все улажу с графом; но слушай: больше уж ты со мной не встречайся. Перед тобой дорога широкая, и коль столкнемся на ней, так и мне и тебе будет обидно. Ну, прощай!.. Подожди! еще один мой совет тебе на дорогу, только один: не пей и учись, все учись; не зазнавайся! Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Смотри же, еще раз повторяю: учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя (а горя-то много будет!) – пиши пропало, все к бесу пойдет, и, может, сам где-нибудь во рву, как твой итальянец, издохнешь. Ну, теперь прощай!.. Постою, поцелуй меня!

Они поцеловались, и вслед за тем мой отчим вышел на свободу.

Едва он очутился на свободе, как тотчас же начал тем, что прокутил в ближайшем уездном городе свои триста рублей, побратавшись в то же время с самой черной, грязной компанией каких-то гуляк, и кончил тем, что, оставшись один в нищете и без всякой помощи, вынужден был вступить в какой-то жалкий оркестр бродячего провинциального театра в качестве первой и, может быть, единственной скрипки. Все это не совсем согласовалось с его первоначальными намере-

ниями, которые состояли в том, чтоб как можно скорее идти в Петербург учиться, достать себе хорошее место и вполне образовать из себя артиста. Но житье в маленьком оркестре не сладилось. Мой отчим скоро поссорился с антрепренером странствующего театра и оставил его. Тогда он совершенно упал духом и даже решился на отчаянную меру, глубоко язвившую его гордость. Он написал письмо к известному нам помещику, изобразил ему свое положение и просил денег. Письмо было написано довольно независимо, но ответа на него не последовало. Тогда он написал другое, в самых унижительных выражениях, называя помещика своим благодетелем и величая его титулом настоящего ценителя искусств, просил его опять о вспоможении. Наконец ответ пришел. Помещик прислал сто рублей и несколько строк, писанных рукою его камердинера, в которых объявлял, чтоб впредь избавить его от всяких просьб. Получив эти деньги, отчим тотчас же хотел отправиться в Петербург, но, по расплате долгов, денег оказалось, так мало, что о путешествии нельзя было и думать. Он снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинциальный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя таким образом с одного места на другое, с вечной идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, пробыл в провинции целые шесть лет. Наконец какой-то ужас напал на него. С отчаянием заметил он, сколько потерпел его талант, непрерывно стесняемый беспорядочною, нищенскою жизнью, и в одно утро он бросил своего антрепренера, взял свою скрипку и пришел в Петербург, почти прося милостыню. Он поселился где-то на чердаке и тут-то в первый раз сошелся с Б., который только что приехал из Германии и тоже замышлял составить себе карьеру. Они скоро подружились, и Б. с глубоким чувством вспоминает даже и теперь об этом знакомстве. Оба были молоды, оба с одинаковыми надеждами, и оба с одною и тою же целью. Но Б. еще был в первой молодости; он перенес еще мало нищеты и горя; сверх того, он был прежде всего немец и стремился к своей цели упрямо, систематически, с совершенным сознанием сил своих и почти рассчитав заранее, что из него выйдет, – тогда как товарищу его было уже тридцать лет, тогда как уже он устал, утомился, потерял всякое терпение и выбился из первых, здоровых сил своих, принужденный целые семь лет из-за куска хлеба бродяжничать по провинциальным театрам и по оркестрам помещиков. Его поддерживала только одна вечная, неподвижная идея – выбиться наконец из скверного положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная; это был какой-то неотразимый внутренний призыв, который наконец с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова, и когда он явился в Петербург, то уже действовал почти бессознательно, по какой-то вечной, старинной привычке вечного желания и обдумывания этого путешествия и почти уже сам не зная, что придется ему делать в столице. Энтузиазм его был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохновение. Этот беспрерывный восторг поразил холодного, методического Б.; он был ослеплен и приветствовал моего отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего товарища. Но вскоре Б. открыл глаза и разгадал его совершенно. Он ясно увидел, что вся эта порывчатость, горячка и нетерпение – не что иное, как бессознательное отчаяние при воспоминании о пропавшем таланте; что даже, наконец, и самый талант, может

быть, и в самом-то начале был вовсе не так велик, что много было ослепления, напрасной самоуверенности, первоначального самоудовлетворения и непрерывной фантазии, непрерывной мечты о собственном гении. «Но, – рассказывал Б., – я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась въявь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный механизм дела. А между тем в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для будущего. Мало того, что он хотел быть первоклассным гением, одним из первых скрипачей в мире; мало того, что уже почитал себя таким гением, – он, сверх того, думал еще сделаться композитором, не зная ничего о контрапункте. Но всего более изумляло меня, – прибавлял Б., – то, что в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных познаниях в технике искусства, – было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное понимание искусства. Он до того сильно чувствовал его и понимал про себя, что не диво, если заблудился в собственном сознании о самом себе и принял себя, вместо глубокого, инстинктивного критика искусства, за жреца самого искусства, за гения. Порой ему удавалось на своем грубом, простом языке, чуждом всякой науки, говорить мне такие глубокие истины, что я становился в тупик и не мог понять, каким образом он угадал это все, никогда ничего не читав, никогда ничему не учившись, и я много обязан ему, – прибавлял Б., – ему и его советам в собственном усовершенствовании. Что же касается до меня, – продолжал Б., – то я был спокоен насчет себя самого. Я тоже страстно любил свое искусство, хотя знал при самом начале моего пути, что большего мне не дано, что я буду, в собственном смысле, чернорабочий в искусстве; но зато я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, возрастил сторицею, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем этим я обязан непрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени как естественному последствию этого самоудовлетворения».

Б. в свою очередь попробовал поделиться советами со своим товарищем, которому так подчинился в самом начале, но только напрасно сердил его. Между ними последовало охлаждение. Вскоре Б. заметил, что товарищем его все чаще и чаще начинает овладевать апатия, тоска и скука, что порывы энтузиазма его становятся реже и реже и что за всем этим последовало какое-то мрачное, дикое уныние. Наконец, Ефимов начал оставлять свою скрипку и не притрогивался иногда к ней по целым неделям. До совершенного падения было недалеко, и вскоре несчастный впал во все пороки. От чего предостерегал его помещик, то и случилось: он предался неумеренному пьянству. Б. с ужасом смотрел на него; советы его не действовали, да и, кроме того, он боялся выговорить слово. Мало-помалу Ефимов дошел до самого крайнего цинизма: он несколько не соvestился жить на счет Б. и даже поступал так, как будто имел на то полное право. Между тем средства к жизни истощались; Б. кое-как перебивался уроками или нанимался играть на вечеринках у купцов, у немцев, у бедных чиновников, которые хотя понемногу, но что-нибудь платили. Ефимов как будто не хотел и за-

метить нужды своего товарища: он обращался с ним сурово и по целым неделям не удостоивал его ни одним словом. Однажды Б. заметил ему самым кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебрегать своей скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента; тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки, как будто вообразая, что кто-нибудь будет упрашивать его о том на коленях. Другой раз Б. понадобился товарищ, чтоб играть на одной вечеринке, и он пригласил Ефимова. Это приглашение привело Ефимова в ярость. Он с запальчивостью объявил, что он не уличный скрипач и не будет так подл, как Б., чтоб унижать благородное искусство, играя перед подлыми ремесленниками, которые ничего не поймут в его игре и таланте. Б. не ответил на это ни слова, но Ефимов, надумавшись об этом приглашении в отсутствие своего товарища который ушел играть, вообразил, что все это было только намеком на то, что он живет на счет Б., и желание дать знать, чтоб он тоже попробовал зарабатывать деньги. Когда Б. воротился, Ефимов вдруг стал укорять его за подлость его поступка и объявил что не останется более с ним не минуты. Он действительно исчез куда-то на два дня, но на третий явился опять, как ни в чем не бывало, и снова начал продолжать свою прежнюю жизнь.

Только прежняя свычка и дружба да еще сострадание, которое чувствовал Б. к погибшему человеку, удерживали его от намерения кончить такое безобразное житье и расстаться навсегда со своим товарищем. Наконец они расстались. Б. улыбнолось счастье: он приобрел чье-то сильное покровительство, и ему удалось дать блестящий концерт. В это время он уже был превосходный артист, и скоро его быстро возрастающая известность доставила ему место в оркестре оперного театра, где он так скоро составил себе вполне заслуженный успех. Расставаясь, он дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный путь. Б. и теперь не может вспомнить об нем без особенного чувства. Знакомство с Ефимовым было одним из самых глубоких впечатлений его молодости. Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая странность, самые грубые, резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б. еще сильнее. Б. понимал его; он видел его насквозь и предузнавал, чем все это кончится. При расставанье они обнялись и оба заплакали. Тогда Ефимов, сквозь слезы и рыдания, проговорил его за погибший, несчастнейший человек, что он давно это знал, но что теперь только усмотрел ясно свою гибель.

– У меня нет таланта! – заключил он, пообедав как мертвый.

Б. был сильно тронут.

– Послушай, Егор Петрович, – говорил он ему, – что ты над собою делаешь? Ты ведь только губишь себя своим отчаянием; у тебя нет ни терпения, ни мужества. Теперь ты говоришь в припадке уныния, что у тебя нет таланта. Неправда! У тебя есть талант, я тебя в том уверяю. У тебя он есть. Я вижу это уж по одному тому, как ты чувствуешь и понимаешь искусство. Это я докажу тебе и всю твою жизнью. Ты же рассказывал мне о своем прежнем житье. И тогда тебя посетило бессознательно то же отчаяние. Тогда твой первый учитель, этот странный человек, о котором ты мне так много рассказывал, впервые пробудил в тебе любовь к искусству и угадал твой талант. Ты так же сильно и тяжело почувствовал это тогда, как и теперь чувствуешь. Но ты не знал сам, что с тобою делается. Тебе не жилось в доме помещика, и ты сам не знал, чего тебе хотелось.